



— Юлий Черсанович, вы так долго не могли найти время для встречи, ссылаясь на занятость... Чем вы заняты?

— Писательское дело, известно, то одно, то другое. Я занимаюсь либо сочинением пьес, либо сочинением песен, либо выпуском дисков, составленных из прежних песен, и книжек, либо размещением своих пьес в театры. Либо выступаю с песнями на концертах, либо читаю книжки, либо гуляю по улице. Область, в которой я сейчас вообще не занят, — это кино. Спрос на меня там равен нулю вот уже который год. Так что единственное, что мне остается, — это ностальгически посмотреть телевизор, где время от времени то “Обыкновенное чудо” покажут, то “Бумбараш” промарширует. Но я собственно об этом не тоскую, потому что главное мое занятие — театр. В театре много чего происходит. Вот в начале апреля — премьера моей сказочки “Кто царевну поцелует”, Марк Розовский принял мою сценическую версию “Фанфан-тюльпан” в свой репертуар, идут переговоры с разными театрами о постановке нашего с Дашкевичем мюзикла о Чонкине. В Норильской драме он уже поставлен, но хочется увидеть в Москве. Войнович ездил в Норильск, смотрел, очень веселился, и относится к этому в высшей степени одобрительно, что приятно.

В издательстве “Аргус” у меня лежат сборник песен, сборник пьес. Идут публикации, вот в “Новой юности” недавно были напечатаны мои камчатские стихи и проза. А самая важная публикация для меня была в последнем номере “Континента” — “Пять новелл из жизни недавнего прошлого”, из жизни наших диссидентов. Готовлю к печати пьесу “Кисть Рафаэля” — фантастическую историю в двух частях, композитор Геннадий Гладков. К постановке пьесу взял Молодежный академический театр.

О концертах. Спрос на мои выступления имеется, в Москве поменьше, чем в России. Даже из-за рубежа зовут — в Израиль, то в Австралию, то в Соединенные Штаты. Здесь тоже ждут — в Свердловске, Красноярске, Норильске, Саратове. Скоро поеду в Петербург.

— Авторская песня счастливо отличается от авторского кино тем, что за автором ее подхватывает народ. Ваша публика — это наш народ?

— Авторское кино тоже имеет свою публику, может быть, не столь широкую, как бардовская песня вообще. Хотя здесь тоже можно говорить о публике, которая любит не все в бардовской песне. Есть публика Высоцкого, есть Горюхины, есть моя — причем они часто пересекаются. Но сказать, что они

Вообще говоря, специального повода для того, чтобы поговорить с Юлием Кимом не нужно. Много лет мы как бы состоим с ним в разговоре — о времени и о себе. И если бы не было этого “собеседования”, не было его песен, сценариев, пьес, если бы не было самого этого человека, — время и мы были бы иного, худшего качества.

“ЭС” поздравляет Юлиа Черсановича с некой наехавшей на него круглой датой, которую он благополучно проехал, потому что не возраст делает человека, а человек — возраст. А на наших страницах — бенефис. Разговор с Юлием Кимом и фрагмент нового сочинения Юлиа Кима. Надеемся, что и того и другого будет еще много.

равны, что они совпадают — публика Митяева с публикой Кима, — нельзя, это видно, какую собирает публику он и какую я. Моя значительно меньше, чем его. Но это ни о чем не говорит. А есть еще такое имя — Шербаков. Его можно сравнить с авторским кино, совсем особенная его публика, и назвать ее массовой никак нельзя.

В Москве есть две аудитории, особенно чуткие к моему творчеству, — гуманитарный лицей (бывшая московская школа № 67) и некая компьютерная фирма. Последняя меня пригласила и чуткость была стопроцентная, что очень приятно.

— В образе российского художника история цепко соединила представления о свободе творческой и свободе гражданской. Кажется, сейчас это пересечение превратилось. Как вы себя ощущаете?

— Вот я спросил Булата Шалвовича, как ему пишется — так же, как при застое или все-таки иначе, поскольку переменились политические условия. Он сказал, нисколько не кривя душой, “абсолютно одинаково”. Свобода есть условие всякого творчества, я имею в виду внутреннюю свободу. Ожидая всегда чувствовал себя внутренне свободным — при Советках и после, и так же чувствовал бы при царском режиме, если бы жил при нем. Что касается политической свободы, то она, безусловно, взаимосвязана с творческой. Я думаю, что и у Булата это было взаимосвязано — политическая несвобода действовала на его творческую свободу если не прямо, то опосредованно, безусловно. Ну, хотя бы по мироощущению. Политическая несвобода обязательно действует на мироощущение человека, тем более российского. Искусство всегда в России исполняло роль оппозиции к режиму — любому. Но у кого-то связь была непосредственной, явной, скажем, у Юрия Петровича Любимова. Это идеологическая оппозиция. (Политической оппозицией занимались диссиденты — они за это и платили.) Или Галич, своим творчеством противопоставивший режиму и политическим, и идеологическим. У меня это проявлялось более опосредованно и вот почему.

Юлий КИМ: “Кухни продолжаютс”

Ко мне была более пристальное внимание, так как я оказался очень близок диссидентским кругам и даже поучаствовал в движении. Но главным образом потому, что я был связан с коллективами кино и театром. Драматург более зависим от политических начальников, чем прозаик, пишущий в стол. Вот мой старинный друг, первый лауреат Буковской премии Марк Харитонов, лет тридцать писал в стол. Конечно, он ходил по редакциям, но прозу не брали, потому что раскаянная, не знающая запретов. Зарабатывал аннотациями, переводами, литературной поощенкой. А жизненное призвание осуществлял в стол, дожидаясь новейших времён.

Наверное, так же было с Шаламовым, который писал свои “Колымские рассказы” и ждал часа, когда их опубликуют. И так и не дождался — их опубликовали после его смерти. А так они холили только в самиздате или тамиздате. Такую жизнь мог себе позволить только писатель. Драматург, если хотел быть поставленным или опубликованным, вступал в диалог с театром, а значит и идеологическим начальством. То есть предпологал: “напишу так, что прямой антисоветщины не будет”. Соблюдались правила, редактору, вплоть до внутренней цензуры. Поэтому перемана политического климата тут прямо и резко сказались. Теперь никаких этих безумных, уничижительных идеологических предвзятых, и идеологических. У меня это проявлялось более опосредованно и вот почему.

вить из газеты “Правда”. Творческие коллективы живут другой жизнью, чем раньше. У них, конечно, есть проблемы, но не убивающие душу творчества.

— Эта новая жизнь началась для вас сразу, со слова, случая или постепенно?

— Как и у всех. Я могу почти точно датировать это ощущение — конец 86 года, когда Горбачев освободил Сахарова. В течение 87-го года Горбачев, держа слово, выпустил диссидентов по сахаровскому списку, около 140 фамилий. Потом ощущение свободыширилось. Хотя цензура еще сопротивлялась, не хотели разрешать Галича, а в 88-ом разрешили. Много всяких историй. Одна такая: в 87-м году Виктор Некрасов отдал рассказ в “Юность” — то есть журнал просил разрешение на публикацию и поставил в план. И это было прекрасно, потому что означало возврат на родину — пока творческий. В ноябре 87-го года Некрасов скончался. Но приятно осознавать, что он знал, что его произведение возвращается. Правда, в то же время “Московские новости” опубликовали некролог, подписанный четырьмя писателями-фронтовиками. И газета получила страшный втык сверху, так что речь зашла чуть ли не о ее закрытии. Егору Яковлеву, тогдашнему главному редактору, пришлось обратиться напрямую к Горбачеву. Гроза прошла, не наделав никаких бед. И Некрасов продолжал возвращаться. А в 88-м году была смешная история со спектаклем по песням Галича. Был такой театр “Третье направле-



ние”, приготовивший композицию по Галичу. Вдруг пришел запрет на спектакль из Московского городского бюро партии. понадобилось письмо в Политбюро Александру Яковлеву, который на что-то “нажал”, и спектакль разрешили. Хотя уже были вечера памяти и публикации в “Новом мире”. Но все-таки культура так мощно пропиралась через запреты, что скоро не стало ни политбюро, ни КПСС.

— Режиссеры по отношению к драматургам тоже отчасти редакторы. С кем вам было работать свободнее?

— Моя работа с режиссерами бывает двоякой. Либо я в процессе этой работы, и режиссер меня всячески туда втягивает. Таким всегда был Петр Наумович Фоменко. Либо режиссер берет у меня то, что просит, и дальше не пускает. Марк Захаров меня на съемки не звал, и совершенно во мне в этом смысле не нуждался. Заказывал песни, иногда что-то просил испривить, добавить. У него даже сложилось впечатление, что мои первые варианты всегда самые удачные. Это большое заблуждение с его стороны. А Фоменко предлагал даже порежиссировать у него на репетициях.

— Что, на ваш взгляд, является примером поступка в сегодняшнем обществе?

— Многочисленные поступки Сергея Адамовича Ковалева, которые являются органическим продолжением его поведения при Брежневе. Выступления Людмилы Алексеевой или Ларисы Богораз. Или когда человек взял и поехал в горячую точку.

Вообще на сегодняшний день я вижу два поприща в жизни, где человек мог бы развернуть свои гражданские возможности в первую очередь. Если бы ко мне обратился молодой человек и спросил: куда мне пойти послужить отечеству — я сказал бы: иди в школу или в журналистику. Вот два поприща, важнейших для нашего общественного здоровья. Перед учителями и журналистами у меня особый интерес.

Я сейчас отошел от такого рода деятельности, политических инициатив за мной нет. Хочется остаток жизни поработать внаспать за письменным столом. Последнее, что я попустил, — это в прошлом году мы с композитором Дашкевичем решили собрать сто подлинь против войны в Чечне. Тряхнул диссидентской стариной, что называется. Время от времени, когда накапливаются размышления, я предлагаю их “Общей газете”.

— Может быть, потому, что лицо власти стало вам ближе? Например, беседа с вами шесть лет назад, Алла Гербер говорила “мы” (лети лагерей) и “они” (режим), после чего стала депутатом.

— Нет, нет. К сожалению, лицо власти близко для меня не стало. В этом смысле я прошел эволюцию многих. От 91-го к концу 94-го, когда началась война в Чечне. Мои последние иллюзии, связанные с именем Ельцина, развеялись, и я с нетерпением жду, когда

да уйдет он и вся старая, связанная с ним команда.

— Но новости вы смотрите каждый день?

— Да, это стало не то что привычкой, но потребностью. Поскольку время у нас идет сильно, контрастно, каждый день может что-то случиться, и это что-то может иметь прямое отношение к моей жизни.

— Сейчас, на ваш взгляд, есть диссиденты в искусстве или обществе?

— Нет. Насколько я понимаю, диссидентство — это утверждение гласности явным порядком. А для этого должен быть тоталитарный режим. В отсутствие этого режима диссидентство автоматически переходит в оппозицию, становится легально допущенным знакомым. Так что бедная Валерия Ильинична Новодворская все время ищет ситуацию, где бы она почувствовала себя диссиденткой, но никак не может найти. Ей хочется в тюрьму, а ее все время отпускают.

— Школьный вопрос: в нашей истории вы считаете преобладающей роль народа или личности?

— Ну, это вопрос не совсем ко мне. Вот Иваном Васильевичем Всеволодовичем, наш великий философ и попиолит, вам бы ответил. Что касается роли личности, то она всегда была и есть, поскольку все законы исторические осуществлялись, через деятельность личности. Личность либо ускоряет процесс исторический, либо тормозит. Причем чем больше личность, наделена властью, тем больше ее роль. До 94 года Ельцин осуществлял волю истории. Даже осенью 93-го, в борьбе с парламентом история была на стороне Ельцина, а справедливость нет. А в 94-м году история была против него, и он получил войну.

— Идея по поводу слов гимна у вас не возникла?

— Честно говоря, иногда мысль приходит, но без вдохновения. Но если бы кто-то официально заказал, я бы поумал. Это дело и патристическое, и материально выгодное. Но думаю, что слова гимна появятся и без меня, это не является моим гражданским или поэтическим долгом.

— В сегодняшней культуре существуют “задачи художника”, такие привычные и определенные в учебниках прошлых десятилетий?

— Задача художника всегда была одна — работать. И все. Конечно, художник мог сам формулировать задачу как политическую — как Маяковский, сознательно, искренне, всеми силами. Я так полагаю, что его художественная натура вошла в противоречие с этой задачей. Агитки остались только агитками и

ушли в прошлое. А вещи, не ангажированные политикой, остались всегда.

— Кто вы считаете своими учителями?

— Я многих могу назвать, кто мне очень нравится, кто на меня возмущался. Если говорить о кино и моем давнем пристрастии к мюзиклу, сразу назову — “Восточный экспресс”, кинорежиссу — потому что на сцене так ее ни разу и не видел. Она действовала на меня прямо, сильно, отразилась на моих песнях. Вплоть до прямого подвига — стащил там одну музыкальную фразу. В этом же ряду стоит “Опелер”, и связано это с именем Александра Асаркина, в шестидесятые годы бывшего театральным обозревателем, большого знатока в области западного мюзикла, живущего теперь в Чикаго. Важнейшим человеком, приобщившим меня к театру, был Петр Фоменко, с которым мы некоторое время учились в педагогическом институте. С тех пор мы дружны и даже время от времени сотрудничаем. Среди наших поэтов для меня уже давно установилось два имени, перед которыми я преклоняюсь, — Давид Самойлов и Иосиф Бродский.

Сильное песенное влияние на меня оказал Высоцкий, безусловно, Визбор.

— Поклонение, идущее за вами, вы видите?

— На своих концертах я вижу много молодых лиц. А сказать, что среди молодых я популярен, — никак не могу. Может быть, это будет чуть позже. В основном все-таки рок-музыка владеет душами. Но по моим осторожным наблюдениям, они все больше слушают бардовскую песню. Видимо, в роке им чего-то не хватает.

— Жизнь под псевдонимом и освобождение от него оказывают художественно-психологическое воздействие?

— Псевдоним у меня был вынужденный — Михайлов. Он отпал в 85-м году, просуществовав 16 лет. Поскольку в 69-м году я был довольно известным антисоветчиком, то не мог под настоящим именем работать ни в кино, ни в театре. Я обаялся псевдонимом, и это всех устроило. Чистая формальная необходимость. И начальству, и всем было известно, что Михайлов — это Ким. Но с Кимом нельзя было заключать контракт, а с Михайловым можно.

— Теперь, когда контракты можно заключать хоть с ЦРУ, вас не посещает популярная ностальгия по знаменитым “кухням”?

— Почему ностальгия? Кухни продолжаютс. Мы встречаемся, как и раньше, разговариваем о политике и литературе. Ничего не изменилось. Как было, так и осталось.

Беседовала
Алиса ХМЕЛЬНИЦКАЯ

Юлий КИМ

Самолет

Фрагмент либретто мюзикла по книге В.Войновича

Наварил, напекла — некому поести...
1-й ОТВЕТ.
На постелю прилегла — некому залезти!
2-й ГОЛОС. “Какая ешь, какая ешь, какие шишечки на ей!”
2-й ОТВЕТ. На ей такие шишечки, как у соседа Мишечки!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬША. Ну вот и слава Богу. Давай, Гладышев, побудь тут за меня, а я — в контору. У меня там, сам понимаешь — телефон.

Председательша ушла. Гладышев Кузьма работу оставил, тютю отложил, руки в боки — надсмотрщик. Но работа и так идет, в ритм песне, которую ведет Нюра.

НЮРА. Цыганка-гадалка, поди-ка сюда. Вот видишь полтинник — возьми себе два. Бери мою руку, смотри на ладони.

Скажи, что мне делать, такой молодой? Ой, речка-реченька, ты бежишь куда? Куда уносишь ты вешние года?

Цыганка-гадалка, скорей мне открой. Где сокол мой ясный, где суженый мой? Что он там медлит, кого он там ждет? Зачем ко мне, бедной, скорей не идет?

Цыганка-гадалка, увидишь его, Скажи ему, чтобы не ждал никого, Плоха ли, хороша, какая ни есть, Уж хочет не хочет — судьба его здесь!

Ой, речка-реченька, я тебе спою: Куда уносишь ты молодость мою? Внезапно на песню, на деревню, на людей наваливается, нарастая, самолетный гул, а там и сам самолет тархтит и припадая на крыло, опускается посреди деревни. Ощип шок, Гладышев, охнув, бежит за начальством. Опомившись, все оббегают и обступают. Из самолета вылезает очень красивый Летчик.

ЖЕНЩИНЫ. Какой краси-и-ивый! МУЖЧИНЫ. Ероплан.

— Какой ероплан? Самолет.

— Да нет, эта ероплан. У самолета два крыла, а у ентого четыре, Ероплан.

— Да хоть двадцать четыре, все равно самолет.

— А что ж тогда ероплан?

— А самолет и есть.

ЖЕНЩИНЫ. Какой моло-о-оденький Хоро-о-ошенький какой!

ЛЕТЧИК (подзывая пальцем Нинку). Девушка, милая. Красавица ты моя. Цветочек ты мой лазоревый. Скажи, любимая: где тут у вас телефон?

НИНКА (в зифории). Чего?

ЛЕТЧИК. Телефон, говорю, где?

НИНКА. Они телефон требуют!

ГОЛОСА. Телефон! Телефон! Телефон! Телефон!

Раздаются звуки марша, извлекаемые из гармошки Гладышевым, за ним шествует Председательша, имея на подносе хлеб-соль и телефон.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬША. Тихо! (Марш умолкает.) Как мне сообщили, что прибыли товарищ сверху, то прошу добро пожаловать в наш колхоз “Красный хомут”. Наш колхоз “Красный хомут” за первую декаду текущего квартала освоил зерновых пятьдесят га, кормовых шестьдесят га, бобовых тоже до пяти га, да с помощью пионеров наклином еще сорок центнеров, да при поддержке инвалидов две тонны хербицидов, итого отого! Благодаря мегиорации и электрификации — да здравствуют соколы советской авиации! Так что все у нас в ажуре, но сначала откушайте нашу хлеб-соль.

ЛЕТЧИК. Сначала телефон.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬША. Сначала телефон, но сначала откушайте нашу хлеб-соль.

ЛЕТЧИК. Значит, у вас все в ажуре?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬША. В ажуре!

ЛЕТЧИК. И кормовые и зерновые?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬША. И бобовые!

ЛЕТЧИК. Тебе хорошо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬША. Очен!

ЛЕТЧИК. Чего я о себе не скажу. (Берет телефон.) Попрошу посторонних за пределы объекта. Выхожу на сеанс военной связи. (Пределы очистили.) Алло! Алло! Петушок, Петушок, вы слышите меня? Алло! Вызывает Курочка, а Курочка, а Курочка, алло, прием! (На том конце связи майор Румянцев снял трубку.)

МАЙОР. Петушок у аппарата.

ЛЕТЧИК. Алло, Петушок, а Курочка, докладываю. Нахожусь в гнезде Е2-Е4. На вынужденном насесте. Разбилося яичко, временно.

Вани Чонкина

Композитор В.Дашкевич

МАЙОР. Так-так-так.
ЛЕТЧИК. Желток стучит, белок не фурычит. Нужна инкубация.

МАЙОР. Так-так-так.
ЛЕТЧИК. А пока высидела за мной корзину, а при ней какого-нибудь цыпленка с пухалкой.

МАЙОР. Это еще зачем?

ЛЕТЧИК. Как зачем? Яичко охранять. Чтоб пропеллер не свистали. Как понять? Прием.

МАЙОР. Вас понял. Ждите корзину. Цыпленка подберу лично. Конеч связи.

Летчик положил трубку. Публика вновь сомкнулась вокруг.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬША. Но сначала — откушайте нашу хлеб-соль наконец.

ЛЕТЧИК (великодушно принимая). Пускай ревут полярные широты, Пускай грохочет южная гроза, Но мы летим, советские пилоты, Стальные руки, умные глаза!

Нам с тобою, товарищ подруга, Никакие враги не страшны. От Волги до Буга, Не знают досуга

Пилоты советской страны!

ХОР. Вскипает труд под мирным небосводом, Кует он крылья летчикам простым, У нас любимая армия народом, Как матерью любимым сын любим?

Звуки марша заканчиваются на территории части, которой командует майор Румянцев. На плацу Старшина муштрует рядового.

СТАРШИНА. Ложись. Отставь. Ложись. Отставь. Ну что, рядовой Чонкин, сможешь вы наконец повторить, как положено приветствовать старших по званию?

ЧОНКИН. Эта...

СТАРШИНА. Отставь “эта”.

ЧОНКИН. Ну, значит...

СТАРШИНА. Отставь “ну значит”.

ЧОНКИН. Положено приветствовать... согнувши ладонь... строем-шагом не входя приветствую... воевую...

СТАРШИНА. Приветствую.

ЧОНКИН. Приветств... твум... муи... вава.

СТАРШИНА. Бово. Чонкин вы Чонкин. Кажется, чего прощ... Путем списа руки в локтевом суставе всей кистью ладонь у правого виска с прижатыми пальцами тыльной стороны кверху”, — но нет, вы не хотите понимать русского языка. Деревня есть деревня, даже колхозная. Теоретически — бесполезно. Но, может, практически сумеете? А? Ну-ка, поприветствуйте старшего товарища. Шагом... ари!

ЧОНКИН (нелепо маршируя). Нам с тобой, дорогая подруга? Ты врагов никаких не боишь! От Волги до туда! Оттуда до сюда! Герои.

ЧОНКИН. Ничего, обживемся.

И вот неторопливо, но непрерывно начинает Ваня обживаться: развешивает вешмешки, извлекает оттуда множество полезных в хозяйстве предметов, разбивает палаточку, разводит огонек, что-то варит, что-то чинит; словом, чрезвычайно уютно устраивается при самолете. При этом он мурлычет-приговаривает себе под нос нечто вроде следующего:

Ой, нас унагли, нас унагли, нас унагли далеко, Там спомаси ероплан и нет солдатов никого, Нет солдатов никого, кроме Ваню одного, Кроме Ванечки-Ванюшенки любимого маво.

СТАРШИНА. Отставить. Ложись.

Те же и Майор.

МАЙОР. Отставь. (К старшине.) Ложись. (Старшина лег.) Рядовой Чонкин! Получите на складе сухой паек на неделю, затем отправившие в квадрат Е2-Е4 для охраны военного объекта. Охранять, пока не сменю лично. Повторите.

ЧОНКИН. Эта...

МАЙОР. Отставь “эта”.

ЧОНКИН. Ну, значит...

МАЙОР. Отставь “ну значит”.

ЧОНКИН. Сухой паек!

МАЙОР. Молодец!

ЧОНКИН. Охранять неделю!

МАЙОР. Отлично!

ЧОНКИН. Покаясь лично!

МАЙОР. Герой! Умница! С Богом! Пшел!

ЧОНКИН. Слушаюсь! (Довольно сносно отдал честь и убр.).

МАЙОР (над старшиной). Солдата понимать надо, старшина. Одной рукой гоняй, другой — награждай. Тогда он будет твой. А то заладил “Ложись, отставь, ложись, отставь...”

СТАРШИНА (вскочил). Есть отставить!

МАЙОР. Ложись! Через неделю учения кончатся, напомните мне вернуть Чонкина вместе с самолетом. Вот теперь “ложись” отставить.

СТАРШИНА (вскочил). Есть напомнить Чонкина вернуть!

МАЙОР. Умница. Оре! Ну — пшел, с Богом!

Звучит марш.

СТАРШИНА. Ну, Чонкин... верну я тебя через неделю. Под извешнее уже марш Чонкин отправляется в деревню.

остаются при самолете, а летчик убывает в часть, под триумфальный обший хор.

ХОР:

До свиданья, товарищ подруга! Лишь одно я хочу пожелать: От Волги до Буга Давай мы друг друга Не будем с тобой забывать!

И Чонкин остался один при самолете. Его невзрачность на фоне красавца летчика никакого любопытства не возбудила — что ничуть его не задело.

ЧОНКИН. Ничего, обживемся.

И вот неторопливо, но непрерывно начинает Ваня обживаться: развешивает вешмешки, извлекает оттуда множество полезных в хозяйстве предметов, разбивает палаточку, разводит огонек, что-то варит, что-то чинит; словом, чрезвычайно уютно устраивается при самолете. При этом он мурлычет-приговаривает себе под нос нечто вроде следующего:

Ой, нас унагли, нас унагли, нас унагли далеко, Там спомаси ероплан и нет солдатов никого, Нет солдатов никого, кроме Ваню одного, Кроме Ванечки-Ванюшенки любимого маво.

СТАРШИНА. Отставить. Ложись.

Те же и Майор.

МАЙОР. Отставь. (К старшине.) Ложись. (Старшина лег.) Рядовой Чонкин! Получите на складе сухой паек на неделю, затем отправившие в квадрат Е2-Е4 для охраны военного объекта. Охранять, пока не сменю лично. Повторите.

ЧОНКИН. Эта...

МАЙОР. Отставь “эта”.

ЧОНКИН. Ну, значит...

МАЙОР. Отставь “ну значит”.

ЧОНКИН. Сухой паек!

15-22.05.97

Ким Юкич



Окончание. Начало на 8-9 стр.

(Входит Генерал.) Слушаю вас, генерал.

ГЕНЕРАЛ. Мой фюрер. Вот план блиц-крига против Советов. (Развернул, Гитлер посмотрел.)

ГИТЛЕР. Великолепно. Мы со-трем их одним ударом. Я не же-лаю войны. Я не хочу войны, я против войны — но меня вынуж-дают! У меня нет другого выхода. Когда мы начинаем?

ГЕНЕРАЛ. 22 июня, мой фюрер. Диверсантов отправляем завтра.

ГИТЛЕР. Я хочу взглянуть на них.

Они выходят. Прямо из кабинета карту блиц-крига похищает ка-питан Миляга и переносит в Моск-ву, где в своем кремлевском каби-нете над бумагами склонился Ста-лин.

СТАЛИН (черкая карандашом). Расстрелять. Расстрелять. Сколь-ко предателей. Сколько врагов. Расстрелять. Ну, что там у вас?

МИЛЯГА. Вот, товарищ Сталин. Прямо из Берлина, 22 июня. (Пока-зывает карту-план).

Между тем Гитлер экзаменует диверсанта.

ДИВЕРСАНТ. Обер-лейтенант Курт Шварц, мой фюрер.

ГИТЛЕР. Район действий?

КУРТ. Квадрат E2-E4, колхоз "Красный хомут", мой фюрер.

ГИТЛЕР. Ваша цель?

КУРТ. Неизвестный военный объект, мой фюрер.

ГИТЛЕР. Ваша задача?

КУРТ. Опознать, демаскиро-вать, по возможности эвакуиро-вать либо уничтожить.

ГИТЛЕР. Ваш образ?

КУРТ. Пастух, инженер, партра-ботник, офицер НКВД — смотря по обстоятельствам, мой фюрер.

ГИТЛЕР. Я — советский кресть-янин. Я иду на колхозную планта-цию перевыполнять свой план. За-дача: воспрепятствовать, не вы-зывая подозрений.

КУРТ (вынув бутылку). Здорово, друг! здорово! Бонжур, физкультуривет! Ты что-то бледен, Вова, Как бледный спирохет. Пойдем со мною, врежем, Замажем, поддадим, Дерябнем, хряпнем, тяпнем, дрюбнем,

хрюкнем, повторим!

ГИТЛЕР. Я не могу пить, я дол-жен идти на плантацию.

КУРТ. Ты почему меня не ува-жаешь?

Ты почему со мною не идешь? Зачем мой мозг ты пудрой посы-паешь?

И вермишель мне на уши кла-дешь?

Дорогого друга Ты забыл, подлюга, Так что выбирай одно из двух: Ты меня уважаешь И со мной замажешь Или ты мне более не друг!

ГИТЛЕР. Нет, я не желаю пить.

КУРТ. Не желаешь?!

ГИТЛЕР. Не желаю, не хочу, я не пью вообще.

КУРТ. Ну, бляха-муха... (Схва-тил за шиворот.)

ГИТЛЕР. Обер-лейтенант Шварц!!!

КУРТ. Прощу извинить. Но мой фюрер: если вы советский кресть-янин, вы не можете так говорить!

ГИТЛЕР. В отличие от вас, обер-лейтенант, ваш фюрер мо-жет говорить все. Впрочем, я до-волен. Я вижу, вы прекрасно под-готовлены. Идите и выполните свой долг.

КУРТ. Служу немецкому наро-ду! Хайль! (Выходит.)

ГИТЛЕР. Генерал... Но если они так пьют — когда же они перевы-полняют свой план?

ГЕНЕРАЛ. Это загадочный на-род, мой фюрер.

ГИТЛЕР. Тем хуже для него. Терпеть не могу загадок!

А в Кремле Сталин отвернулся от карты-плана блиц-крига.

СТАЛИН. Гитлер не станет на-падать на нас. Гитлер не готов на-

падать на нас и он не будет напа-дать. Как это: я не готов, а он го-тов. Исторически исключено. Это провокация. Это обдуманная про-вокация, коварная провокация, но довольно очевидная провокация. Немедленно отнесите на место!

Миляга послушно выносит кар-ту.

Трудно быть мудрым. Но необ-ходимо. (Наклонился над бума-гой.) Расстреля... (Пауза. Велико-душно.) Ну, хорошо: выслать, вы-слать, выслать всех, к чертовой

наоборот.

ЦИЛЯ. Ой, Мойше, Мойше, сил нету больше!

Куда же дальше? Ой, беда-бе-да!

МОЙШЕ. Ой, Цилия-Цилия — ве-лика Россия.

ЦИЛЯ. Есть еще куда?

МОЙШЕ. Есть еще куда!

ЦИЛЯ. Ой, Мойше, Мойше, куда же нас теперь?

МОЙШЕ (читает бумагу). Колхоз "Красный хомут", Цилечка.

ЦИЛЯ. Это далеко?

Был бы не один — я бы не гру-стил.

НЮРА. Цыганка-гадалка, ско-рей мне открой.

Где сокол мой ясный, где суже-ный мой?

ЧОНКИН. А мне то не так, что грущу один...

НЮРА. Чего он там медлит, ко-го он там ждет...

ЧОНКИН. Был бы не один, я бы не грустил...

НЮРА. Чего ко мне, бедной, скорей не идет?

Юлий КИМ

Самолет Вани Чонкина



матери!

И тут же обозначились Мойше, и Цилия с фанерными сундучками.

МОЙШЕ и ЦИЛЯ.

— Ой, Цилия, Цилия!

— Ой, Мойше, Мойше!

Вот опять куда-то снова надо ехать нам.

— Ох, эта гой! Ох, эти гойши!

Что они от нас хотят все время здесь и там?

МОЙШЕ. Ой, Цилия-Цилия, ой про-стофиля!

Нам с тобой страдать они все-гда найдут за что:

Христа распяли. Кремля взо-рвали,

Троцкого родили — а Маркса делал кто?

ЦИЛЯ. Ой, Мойше, Мойше — за что же нас теперь?

МОЙШЕ. За политическую бли-зурность.

ЦИЛЯ. За что?

МОЙШЕ. Я пошил сапоги райко-му лучше, чем НКВД. А надо было

МОЙШЕ. Не все ли равно? Та-кой колхоз везде. Пойдем, пожа-луйста.

ОБА (по дороге):

Три тыщи лет евреи

Идут в Ерушалим.

Идем, пока живем,

Живем, пока идем

Туда, на холмы Иудеи.

Где наш белокаменный дом.

И где б мы ни плыли,

Куда бы нас ни гнали —

Верхом или пешком,

Мы все-таки идем

Туда, на холмы Иудеи,

Где наш белокаменный дом.

В деревне. Чонкин сидит вяжет,

песенку поет. По соседству Нюра окучивает свою картошку. Тоже напеваает.

ЧОНКИН. Ты о чем грустишь, молодой казак?

Что тебе не то? Что тебе не так?

А мне то не так, что грущу один.

ЧОНКИН. Был бы не один, я бы... одна живете или замужем?

НЮРА. А вам для чего это знать?

ЧОНКИН. Для интересу.

НЮРА. Одна не одна, вас это не касается.

ЧОНКИН. Значит, одна. Был бы я один, я бы не грустил. Может, помоги?

НЮРА. Да я уж сама, спасибо.

ЧОНКИН. Значит, помоги. (По-дошел.) Водички не принесете?

Пить охота.

НЮРА. Это можно.

Оставила тятку, пошла в дом. Чонкин принялся за грядку.

ЧОНКИН. Эх, нас угнали, нас уг-

нали, нас угнали далеко,

Где нет солдатов никого, кроме Вани одного.

Ой, кроме Ванечки-Ванюшеньки никто там не живет,

Он и сеет, он и пашет, он и пе-сенки поет.

Нюра вынесла ковшик, смот-

рит.

НЮРА. Да вы никак тоже дере-венские?

ЧОНКИН (попил, отдал ковшик, продолжает тятать).

А мы куземы-черноземы, голо-вы печеные,

А нас в город не заманишь, мы и так ученые.

НЮРА. Они там в городе и тят-ку-то в руках держать не умеют, даже стыдно.

ЧОНКИН. Эх, гадом буду, не по-еду ни в Калугу, ни в Париж:

Там у печки не покуришь, ни с крылечка ни поссышь.

НЮРА (собирая на стол). И че-му их там только учат?

ЧОНКИН. А их учат-не-научат груши околачивать.

Да деревенское сальцо с кар-тошкой намолачивать. Все.

НЮРА. Устали?

ЧОНКИН. Э, мне эта работа все равно что развлечение.

НЮРА. Я там на стол собрала.

ЧОНКИН (вздыхнул). На стол? Нельзя мне. С большим моим со-жалением, но нельзя. У меня вот (на самолет) стоит.

НЮРА. Да, Господи, кто ж его тронет? У нас тут и двери никто не запирает.

ЧОНКИН. Нельзя. Не положено мне к вам... А может, вы ко мне? Насчет этого инструкцию не дава-ли.

НЮРА. Да как же?

ЧОНКИН. А вот так же.

(И перетащил стол со снедью к себе под самолет.) К вашим огур-цам нашу тушенку. К вашему чаю наш сахарок. Просю. (Разлил по стаканчикам самогонку. Поднял.) Со встречей. (Выпили, закусили. Навали. Подняли.) С окончанием полевых работ. (Выпили. Закуси-ли.) Поди сюда.

НЮРА. Зачем?

ЧОНКИН. Да просто так.

НЮРА. Просто так и подходить не обязательно.

ЧОНКИН. Да не бойсь, не укушу.

НЮРА. Ни к чему все это. (Пе-решла, села рядом.)

ЧОНКИН. Давай песню научу. Называется: дует.

НЮРА. Да я не сумею.

ЧОНКИН. Да я научу. Эта... Ну значит, сперва ты меня спраши-вай: "Ты о чем грустишь, молодой казак?"

НЮРА. Ты о чем, грустишь, мо-лодой казак?

ЧОНКИН. "Что тебе не то, что тебе не так?"

НЮРА. Что тебе не то, что тебе не так?

ЧОНКИН. А я отвечаю: "А мне то не так, что грущу один, был бы не один, я бы не грустил". Вот тут — дует.

ДУЕТ.

— А зачем грустить, а об чем скучать?

Подойди ко мне да поближе сядь.

— Я присел бы к вам, но стесня-юсь,

Я бы вас обнял, — но не решаю-ся!

— А зачем тогда яблони цветут?

А зачем тогда соловьи поют?

А они поют не жалея сил,

Чтоб никто весною не грустил!

Среди ночи Чонкин проснулся.

Посмотрел на спящую рядом Ню-ру с некоторым удивлением. По-качал головой. Встал, обошел са-молет, пнул колесо. Отошел по-дальше, оглянулся, отлил. Вер-нулся. Нюра сидит, смотрит ис-подлобья.

ЧОНКИН. Здравствуйте.

НЮРА (робко). Здравствуйте.

ЧОНКИН. Вообще-то я Иван.

Чонкин Иван Петрович. Будем знакомы? (Протянул ладошку.)

НЮРА (пожимает). Белашова Анна. В общем — Нюра. (Пауза.) Я пойду?

ЧОНКИН. Куда?

НЮРА. Домой.

ЧОНКИН. Зачем? Я говорю: за-чем ходить-то? (Взял, поднату-жил — да и перевернул Нюрки-ну ??? к своему самолету.) Ну вот. С новосельем вас.